
Юлия Соло
СЧЁТЧИК ЧУЖИХ СНОВ
Приквел к циклу «Печать Вод»

Юлия Соло

СЧЁТЧИК ЧУЖИХ СНОВ
Приквел к циклу «Печать Вод»

«Автор»
2026

Соло Ю.

СЧЁТЧИК ЧУЖИХ СНОВ Приквел к циклу «Печать Вод» / Ю. Соло — «Автор», 2026

На погосте над старым пересохшим руслом живёт гробовщик Макарыч — последний из рода, чей дар передаётся по крови: он провожает души умирающих по тёмным тропам подземной реки, чтобы никто не заблудился на перекате между мирами. Сорок лет он держит гробовское дело — и сорок лет хранит венчальную свечу, которую нельзя резать ножом и нельзя зажигать без беды. Когда по деревням проходит поветрие, а на погосте появляется злая тварь с серой рукой, Макарыч понимает: узел под Салмой, запечатанный дедом, слабеет. Пять зим он строит ладью без единого гвоздя — последнее судно для проводника, который сам не переплывёт реку, пока живы те, кого он провожает. Когда срок выйдет, к калитке постучат два раза по перилам — так стучат те, кому давно отняли голос. Приквел цикла «Печать Вод»: история о том, что смерть — не конец пути, а дорога, которую кто-то должен держать чистой.

© Соло Ю., 2026
© Автор, 2026

СЧЁТЧИК ЧУЖИХ СНОВ
Приквел к циклу «Печать Вод»

СЧЁТЧИК ЧУЖИХ СНОВ

Приквел к циклу «Печать Вод»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I . ПОГОСТ НАД СТАРЫМ РУСЛОМ
Глава 1. Покров без огня
Глава 2. Прадедовский люк
Глава 3. Запах смолы и мёда
Глава 4. Сон о человеке с серой рукой
Глава 5. Весло из грозового дуба
Глава 6. Торфяная яма и нагели
Глава 7. Серая пыль на подушке
Глава 8. Две зимы
Глава 9. Спуск в подпол
ЧАСТЬ II . КУЗНЕЦ
Глава 10. Дом без мастера
Глава 11. Кузня по памяти
Глава 12. Настасья у мельницы
Глава 13. Дедов наказ и первый звон
Глава 14. Остывший чугунок и науз
Глава 15. Помолвка и сказы стариков
Глава 16. Берег у переката
Глава 17. Последний спокойный вечер
ЧАСТЬ III . ПЯТЬ ЗИМ
Глава 18. Урок чёрной воды
Глава 19. Утро после провала
Глава 20. Третья и четвёртая зарубки
Глава 21. Пятая зарубка и яма до Покрова
Глава 22. Остановка маятника
Глава 23. Смерть в сарае и свеча на верстаке
Глава 24. Чёрная горка и тёплая печь
Глава 25. Тишина перед щеколдой
Глава 26. Два удара по перилам

ЧАСТЬ I . ПОГОСТ НАД СТАРЫМ РУСЛОМ

Глава 1. Покров без огня

Рубанок брал сырую сосну туго, со свистом, и жёлтая стружка лезла из летка влажной лентой, сразу ложась на верстак плотным кольцом. Наваливаясь на колодку всем корпусом, Макарыч чувствовал, как под подошвами сапог поскрипывают насыпанные с утра опилки и как отзывается тупой ломотой левое плечо — память о прошлогоднем ледоставе, когда они с покойным ныне фельдшером вытаскивали из полыньи лошадь.

В мастерской пахло кислой древесиной, варом и остывшей печной золой. Утро выдалось низкое, без единого просвета в тучах, какие бывают перед самым Покровом, когда земля уже схватилась первым утренником, а снег ещё не лёг, и мир вокруг стоит голый и гулкий, словно пустая бочка.

За стеной, со стороны старого русла, глухо каркнула ворона. Звук вышел короткий, отрывистый — будто кто-то ударил мёрзлой палкой по колоде.

Отведя рубанок, гробовщик провёл большим пальцем по снятой фаске. Гладко. Дерево было ещё живое, плакало пасокой на сучках, но ждать, пока вылежится, времени не оставалось: старый мельник Никифор, дотянувший до девяноста трёх лет и переживший двух царей и трёх попов, преставился ещё вчера в сумерках, а по здешнему заведению долго покойника в избе не держат — на третий день надо опускать в землю, покуда земля пускает лопату без лома.

— Опять сырятину строгаешь, — раздался от двери негромкий голос.

На пороге стояла Марья, придерживая концы тёмного шерстяного платка у самого горла. Лицо у неё было бледное, утреннее, с тенями под глазами, но спину она держала прямо, как и сорок лет назад, когда пришла сюда из-за речки невестой.

— Какая есть, — ответил Макарыч, не оборачиваясь, и потянулся за стамеской. — Сухой сосны на два аршина с четвертью в сарае не осталось, всю на прошлую зиму извели, когда поветрие по деревням прошло. А Никифор, сама знаешь, мужик был кряжистый, в плечах широкий. В узкий ящик его не уложишь, не по-христиански.

— Поведёт доску.

— До весны не поведёт, а там уж ему без разницы. Ты чего встала на сквозняке? Закрывай дверь, и так выстудило за ночь.

Переступив высокий дубовый порог, Марья плотно притворила за собой обитую войлоком створку и прошла к печи, сложенной в углу из потемневшего кирпича. Кочерга звякнула о заслонку; в загнетке ещё теплились под пеплом красные угли. Два берёзовых полена легли сверху. Береста занялась не сразу — сперва зашипела, свернулась в чёрную трубочку, пустила едкий дымок, и только потом вспыхнула ровным пламенем.

— Баба Агафья с утра приходила, — сказала Марья, не глядя на мужа. — Пока ты за тёсом ходил.

— Чего ей? Вроде не помирает ещё.

— Просила зайти к обеду. Сын у неё, младший, третий день в горячке мечется. Бредит всё, руками по одеялу шарит, будто собирает чего. Боится Агафья, как бы не отошёл без напутствия.

Стамеска легла на край верстака. Вытирая руки о холщовый фартук, Макарыч глянул на свои пальцы — в смоле и древесной пыли, въевшейся в трещины на коже так глубоко, что не отмывалась она ни щёлоком, ни горячей водой с песком.

— Молодой ещё, — проговорил он глухо. — Девятнадцатый год парню. Не его черёд.

— У смерти череды нет, сам знаешь.

— Знаю. Только у молодых сны путаные, у стариков проще. Старик перед концом всё больше к дому тянется, к родителям, к реке, где в детстве рыбу бреднем таскал. Там тропа натоптанная, не собьёшься. А у молодого в голове каша: и страх, и злость, и девки, и недоделанное всё. Поди разбери, куда его потянет, когда глаза закроет.

Ледяная вода из медного рукомойника у двери обожгла ладони, но в голове сразу прояснело, ушла ночная тяжесть из затылка. Суровое полотенце жёстко растёрло кожу.

— Зайду после обеда, как крышку собью, — сказал он, вешая полотенце на гвоздь. — Никифора надо к вечеру в дом отвезти, сноха его уже дважды присылала парнишку торопить.

Марья кивнула, но с места не двинулась. Стояла у печи, глядя на огонь, и пальцы её медленно перебирали бахрому платка — знакомое движение, повторявшееся перед большими праздниками или когда на погосте случалось неладное.

— Покров завтра, — тихо произнесла она.

— Покров, — согласился Макарыч. — Снег бы лёг, грязь прикрыл, а то кочки поутру как камни, ногу подвернёшь.

— Сорок лет завтра, как принял я от Луки гробовское дело, — сказал он после паузы, пробуя на ладони вес берёзовой киянки.

Рукоять отполировалась до тёмного глянца, в самом центре виднелась неглубокая вмятина от давнего удара по железному клину. Сорок лет. Срок немалый, если считать по зарубкам на косяке, и короткий, если оглянуться назад: вот только вчера вроде бы принял он от бездетного вдовца Луки и науку провожать уходящих, и этот родовой дедовский верстак под окном, и лаз под ним — от прадедов ещё, чей род веками сидел на этом бугре над старым руслом.

Негромко скрипнула низкая дверь в жилую половину дома. В горнице шаги Марьи стихли, потом щёлкнул кованый замок большого сундука, стоявшего в переднем углу под божницей.

В мастерской осталось только тиканье старых ходиков за стеной. Тик-так. Тик-так. Ровно, без сбоев, как сердце здорового человека во сне.

Потом половица скрипнула снова.

В проёме двери показалась Марья. В обеих руках, осторожно, она держала длинную, в два с половиной аршина, толстую восковую свечу. Воск за долгие годы потемнел, набрал пыли и стал похож на старую слоновую кость, кое-где покрытую мелкой сеткой трещинок. Фитиль наверху был чёрный, загнутый крючком — от давнего, единственного огня, горевшего в церкви на их венчании.

— Зачем достала? — спросил Макарыч негромко.

— Проветрить, — ответила она так же тихо. — В сундуке сыростью потянуло от стены. Боюсь, как бы плесень по воску не пошла.

Пройдя в красный угол самой мастерской — здесь тоже висела потемневшая икона Николы Угодника в медном окладе, перед которой никогда не зажигали лампаду из-за вечной древесной пыли, — она поставила свечу в чугунный подсвечник на полочке под образом. Не стала чиркать кресалом, не потянулась к печи за лучиной. Просто поправила свечу, чтобы стояла ровно, и отступила на шаг.

Свеча стояла в полумраке угла прямая и немая. Чёрный фитиль торчал из желтоватого воска, как сухой стебель полыни из-под осеннего дёрна.

В груди у Макарыча медленно ворочалось что-то привычное — камень в кармане, о котором давно забыл, зачем положил. Они ни разу не зажигали её после церкви. Ни в болезни, ни в голодные годы, ни тогда, когда в первую зиму на погосте у них умер младенец, проживший всего три дня и даже не успевший получить имени. Марья тогда трое суток не выпускала из рук холщовый свёрток, пока муж сам не вырыл маленькую ямку у восточной ограды и не опустил сына в мёрзлую землю. Старый Лука перед смертью наказал им крепко: венчальный воск не для житейской нужды. Он вёрсты отмеряет, когда час придёт, а часы ему без надобности. И резать его ножом грех — только огнём сходит, и только после беды.

— Пусть постоит до вечера, — сказала Марья, не оборачиваясь к мужу. — К ночи уберу обратно.

— Убери, — согласился он, снова берясь за рубанок. — Нечего ей тут на виду стоять. Стружка кругом, пыль.

Руки делали своё дело сами — строгали, подгоняли кромку, выверяли угол угольником, — а мысли уходили туда, вниз, за старое русло, где под слоем жухлой травы и серого известняка лежала земля, в которую завтра утром предстояло опустить старого Никифора.

Погост стоял на высоком бугре, на самой излучине пересохшей давным-давно реки. Воды в старом русле не было на памяти ни отцов, ни дедов — одна широкая, поросшая осокой и кривым ивняком ложбина, по дну которой весной бежал мутный ручей от талого снега, а летом паслись деревенские козы. Но земля здесь была особенная. Копать могилу на этом бугре всегда было тяжело: на два штыка шёл плотный суглинок, потом полоса речного песка с окатанной галькой, а глубже начинался слоистый известняк, который брала только кирка. И в ямах здесь никогда не стояла вода. Даже в самые проливные осенние дожди дно могилы оставалось сухим, только тянуло оттуда странным, пресным холодом, совсем непохожим на сырость погреба.

К полудню гроб был готов.

Вышла крепкая домовина — без лишних украшений, но сбитая на совесть, в шип, чтобы нигде ни щёлочки. Крышку Макарыч приладил на деревянные шканты, гвозди припас отдельно, в тряпице — заколачивать будут уже на кладбище, после отпевания.

На крыльце он перевёл дух. Ветер к обеду задул с севера, острый и колючий, погнал по двору сухие листья берёзы. Небо так и не прояснилось, только стало ещё ниже.

Со стороны деревни по разбитой дороге, петлявшей между кустами можжевельника, показался человек. Шёл он быстро, широко шагая длинными ногами в обмотанных онучами лаптях. Издалека узнался Васька, младший работник с мельницы.

— Дядь Макар! — закричал парень, ещё не дойдя до калитки. Голос у него срывался от быстрого бега и холодного ветра. — Хозяйка велела сказать — поп уже в избе, кадило раздувает! Ждут только тебя с ящиком!

— Готов ящик, — спокойно ответил гробовщик, сходя с крыльца. — Телегу пригнал?

— За бугром стоит, лошадь привязал, чтобы на кресты не косилась. Боится она сюда заходить, храпит, ушами прядёт.

— Животина завсегда чует, где покойник, — буркнул хозяин погоста и пошёл открывать широкие ворота сарая. — Помогай давай, берись за узкий край. Да не дёргай, спину сорвёшь.

Вдвоём они вынесли гроб, погрузили на телегу, подстелив под дно охапку прошлогоднего сена, чтобы не поцарапать свежестроганые доски о грядки. Васька вскочил на передок, дёрнул вожжи, и телега затарахтела по мёрзлым колеям вниз, к деревне.

В доме Макарыч снял рабочий фартук, умылся ещё раз, надел чистый, хотя и вытертый на локтях суконный кафтан. Заглянул в мастерскую.

Свеча всё так же стояла в красном углу под иконой Николы. В сером дневном свете, падавшем из маленького оконца, воск казался глухим и мёртвым. У печи на лавке сидела Марья, чистила картошку в деревянную миску. Нож в её руках двигался медленно, срез ложился тонкой прозрачной лентой.

— Я к Агафье зайду по пути, — сказал Макарыч, надевая шапку. — Раз уж звала. А потом сразу к Никифору, помогу вынести.

— Поешь сперва, — не поднимая головы, ответила Марья. — Щи в печи упрели.

— Некогда. Помяну на поминках, там столы уже накрыли, поди. Ты свечу-то убери, не держи до ночи.

Короткий кивок стал ему ответом.

Деревня встретила гробовщика собачьим лаем и запахом печного дыма, стелившегося низко над крышами из-за сырого ветра. Улица пустовала — все, кто мог ходить, уже собрались у просторной, крытой дранкой избы мельника на другом конце села.

Узкий проулок спускался к самому старому руслу. Здесь стояли избы победнее, крытые соломой, с покосившимися плетнями и вросшими в землю оконцами. Изба вдовы Агафьи была крайней, за ней начинался пустырь и заросли крапивы, побитой первыми заморозками.

Дверь оказалась не заперта — только прикрыта на деревянную вертушку, чтобы не выдувало тепло. Переступив высокий порог, Макарыч попал в тесные, тёмные сени, пахнущие кислой капустой и овчиной.

— Хозяева! — позвал он негромко.

Из горницы выскочила сама Агафья — маленькая, сухонькая баба с заплаканным, почерневшим от бессонницы лицом. Увидев гостя, она всплеснула руками и запричитала было в голос, но поднятая ладонь остановила её на полувздохе:

— Тихо ты. Не хороним ещё. Где парень?

— Там, на печи, кормилец, — зашептала Агафья, утирая нос концом передника. — Совсем плох стал к обеду. Болеет с прошлой осени, как в лес пошёл за валежником и простыл,

а в горячку ударился третьего дня. Глаза закатил, зубами скрипит, слова не вымолвит. А сам весь горит, как головешка. Я уж и святой водой кропила, и травами поила — не берёт ничего!

Сняв шапку и повесив её на деревянный колышек у двери, Макарыч расстегнул кафтан и прошёл в избу.

В горнице стояла духота и полутьма — единственное маленькое оконце было затянуто бычьим пузырём и едва пропускало серый свет с улицы. На широкой лежанке у русской печи, укрытый старым тулупом и лоскутным одеялом, лежал парень. Лицо его, ещё совсем мальчишеское, с редким пушком на верхней губе, было цвета мокрой золы, губы запеклись и потрескались, а грудь под тулупом ходила часто и мелко, со свистом.

Придвинув табурет, гробовщик сел рядом с лежанкой и взял парня за руку выше запястья. Кожа была сухой и горячей, а жилка под пальцами билась часто-часто, сбиваясь с такта.

— Поди в сени, — сказал он спокойно, не глядя на Агафью. — Воды принеси свежей из колодца. И не стой над душой, мешаешь.

Вдова попятилась к двери, крестясь на ходу, и тихо притворила за собой створку.

В избе стихло. Слышно было только, как гудит в трубе ветер да как тяжело, с хрипом дышит больной.

Закрыв глаза, Макарыч посидел так с минуту, выравнивая собственное дыхание, отпуская дневную суету, запах свежего тёса, мысли о Никифоре и о свече в красном углу. Пальцы его всё так же лежали на горячем запястье парня, чувствуя лихорадочный стук крови.

Это не было колдовством — старый Лука всегда злился, когда деревенские бабы называли их ремесло знахарством или ворожбой. «Мы не лечим и не губим, — говорил он, бывало, постукивая костяшками пальцев по крышке готового гроба. — Мы проводники. Умирающий человек — слепой в чужом лесу. Ему страшно, он назад оглядывается, за сучья цепляется, а тропа одна — вниз, к воде. Если вовремя сон его перехватить да направить куда следует, он спокойно уйдёт, без муки. А если душа заблудится в потёмках — долго ещё маяться будет, и себе покоя не найдёт, и живым спать не даст».

Медленный выдох — и свободная ладонь легла на горячий лоб парня.

Сначала не было ничего — только жар, давящий на пальцы, да глухой стук собственной крови в висках. Потом перед закрытыми глазами поплыли мутные багровые круги, запах овчины и кислой капусты в избе сменился резким духом прелой осиновой листвы и болотной тины.

В чужой сон Макарыч вошёл тяжело — шагнул по колено в холодную глину.

Здесь не было ни избы, ни печи, ни осеннего ветра. Вокруг стоял густой, неподвижный туман цвета грязной шерсти. Под ногами хлюпала жирная грязь, из которой торчали кривые, обломанные сучья. Где-то впереди, невидимая за пеленой, тяжело ворочалась вода — глухо и тяжко.

У самой кромки этого тумана сидел на корточках парень, вцепившись обеими руками в корни старой вывороченной ели. Он молчал — рот его был широко раскрыт, но звука не было, только из уголков губ текла тёмная струйка. Плечи его мелко дрожали, а широко распахнутые глаза смотрели в пустоту перед собой с таким животным ужасом, от которого у самого гробовщика свело скулы.

«Рано тебе сюда, дурень, — подумал он без слов, просто толкнув эту мысль вперёд, как толкают тяжёлую дверь плечом. — Не твоя тропа. Назад иди, к свету».

В сером мареве рука схватила парня за ворот рубахи — мокрой, ледяной, липнущей к телу — и рванула на себя.

Тот не поддался. Пальцы его впились в еловые корни так крепко, что ногти почернели и потрескались. Он мотал головой, пытаясь вырваться, и вдруг повернул лицо к Макарычу. В мутном свете тумана глаза у парня были совсем белые, без зрачков, и от него несло сухим мёртвым песком и старым железом.

Холод пробежал по спине старика. Это был не бред горячки и не обычный предсмертный страх. Снизу, из-под густого тумана, где ворочалась невидимая вода, тянуло пресным холодом, который он чувствовал на дне свежевырытых могил на своём погосте. И что-то там, внизу, держало парня за ноги, не пускало наверх, тянуло в глубину.

— Пусти, — выдохнул Макарыч уже вслух, чувствуя, как по вискам течёт холодный пот. — Не твой он ещё. Не срок.

Упершись ногами в вязкую грязь, он перехватил парня поперёк груди и потянул изо всех сил, вкладывая в это движение всю свою тяжесть, всю привычку ворочать дубовые колоды. Корни треснули, оборвались с сухим щелчком, и туман закрутился воронкой, потянув их обоих вверх, в красную темноту.

Глаза открылись с трудом.

В избе по-прежнему пахло овчиной и дымом. За окном завывал ветер. Парень на лежанке дёрнулся всем телом, глубоко, со всхлипом втянул воздух, закашлялся сухим кашлем и вдруг обмяк, откинув голову на подушку. Жар под ладонью начал спадать — медленно, неохотно, но на лбу у больного уже выступила мелкая испарина.

Скрипнула дверь, и в горницу заглянула Агафья с деревянным ковшом в руках. Увидев, что сын перестал метаться и дышит ровно, она ахнула, поставила ковш на лавку и бросилась было целовать Макарычу руки, но он грубо отдёрнул ладонь.

— Уймись, дура, — сказал он хрипло. Во рту было сухо, на зубах скрипела невидимая пыль. — Не помер, и ладно. Травой его теперь отпаивай, липовым цветом, да в тепло кутай. И смотреть за ним в оба три дня: ежели опять в бред ударится — сразу за мной беги, не жди до утра.

Подниматься с табурета пришлось тяжело — колени дрожали, в пояснице ломило. Накинув кафтан и надвинув шапку на самые брови, он вышел из избы, не взяв ни гроша, ни яйца на помин души, которые Агафья пыталась сунуть ему в карман.

На улице уже начинало смеркаться. Ветер стих, но холод стал злее.

Дорога к избе Никифора показалась длиннее обычного — внутри всё ещё дрожала противная струна. За сорок лет ремесла Макарыч видел всякое. Принимал сны и у стариков, отходивших тихо, и у рожениц, истекавших кровью, и у мужиков, придавленных деревом в лесу. Всякий раз там, на той стороне, была вода — широкая, тёмная река, через которую нужно было перебраться, чтобы уйти на покой. Но никогда ещё вода эта не была такой вязкой, и никогда ещё оттуда не тянуло таким каменным голодом, словно река внизу начала пересыхать и теперь хватала за ноги каждого, кто неосторожно подходил к самому краю берега.

Поминки у мельника тянулись долго.

В просторной, жаркой от натопленной печи избе пахло кутьёй, жареной рыбой, крепким домашним пивом и свежим сосновым тёсом от нового гроба, стоявшего на лавках в переднем углу. Поп, молодой ещё, недавно присланный из города, отслужил панихиду быстро, торопясь вернуться к себе до полной темноты, и уехал на своей кобыле, оставив мужиков допивать поминальную брагу.

Выпив две чарки и съев ложку кутьёй с мёдом, Макарыч засобирался домой. Сноха Никифора, дородная баба с красным от слёз и жара лицом, сунула ему в руки узел с пирогами и куском варёного мяса.

— Возьми, дядь Макар, Марье отнеси. Дай бог тебе здоровья за труды. Хороший дом ты деду сбил, крепкий.

— Спите спокойно, — ответил он, принимая узел. — Завтра к утру приду, как отпоёте, поведём на бугор. Яму я ещё вчера вырыл, земля там сухая, не осыплется.

Обратно на погост пришлось идти в полной темноте. Луны не было, тучи затянули небо наглухо, и дорогу приходилось угадывать больше ногами, по знакомым рытвинам и кочкам.

Дом на бугре стоял тёмный — ни в одном оконце не светился огонёк. Калитка звякнула щеколдой, половицы крыльца скрипнули под сапогами. В сенях было тихо, только за стеной, в хлеву, тяжело вздохнула во сне корова.

В мастерской Макарыч нащупал на печи коробок с серными спичками, чиркнул. Вспыхнувший синий огонёк осветил верстак, кучу жёлтой стружки на полу, пилы на стене и пустой чугунный подсвечник в красном углу.

Свечи там не было. Марья убрала её обратно в сундук.

Сальный огарок в плошке тускло осветил стол. В горнице Марья уже спала на деревянной кровати у печи, укрывшись стеганым одеялом до самого подбородка. Лицо её во сне было спокойным, только на виске серебрилась выбившаяся из-под повойника прядь седых волос.

Узел с поминальными пирогами лёг на стол. Раздевшись в темноте и стараясь не скрипнуть половицей, Макарыч лёг рядом.

Сон не шёл. В тёмном потолке не за что было зацепиться взгляду, и только ходики на стене мерно отстукивали секунды. Тик-так. Тик-так. Ровно, привычно, отмеряя ночь за ночью, год за годом.

Потом за стеной, в мастерской, раздался короткий, сухой звук — будто под полом, в самом известняке, треснул от мороза камень. Макарыч прислушался, затаив дыхание, но звук не повторился. Только в ушах всё ещё стоял глухой плеск невидимой воды из чужого сна, а на языке оставался горький, пресный привкус сухой пыли.

Глава 2. Прадедовский люк

Мёрзлая земля под лопатой звенела, как плохо обожжённый кирпич, и с каждым ударом штыка в ладони отдавало тупой болью, от которой ныли суставы больших пальцев. Утро Покрова выдалось высоким и стылым. Снег так и не выпал, только густой белый иней лёг на жухлую осоку в старом русле, на покосившиеся деревянные кресты и на свежевырытый отвал жёлтого суглинка у края разверстой ямы.

Стоя по пояс в могиле, Макарыч подравнивал стенки заступом. На два штыка вниз земля шла плотная, глинистая, потом начиналась полоса речного песка с окатанной галькой, а на самом дне, на глубине двух с половиной аршин, лопата упиралась в слоистый известняк. Дальше бить не требовалось — глубже покойников на этом бугре не клали, да и не брало железо камень без кирки и лома.

От серого пласта под ногами тянуло тем самым пресным холодом, к которому он привык за сорок лет, но сегодня холод этот казался тяжёлым и неподвижным, словно воздух внизу загустел, как осенний студень.

Наверху, у самого края ямы, хрустнула замерзшая трава. Подняв голову, гробовщик увидел Ваську, работника с мельницы, в старом овчинном тулупе нараспашку и с заступом на плече. Нос у парня покраснел от утреннего морозца, из-под рваного треуха выбивались светлые вихры.

— Поп уже в церковь повёз, дядь Макар, — сказал Васька, заглядывая вниз и щурясь на серый камень под ногами старика. — Отпоют скоро. Хозяйка велела спросить, всё ли готово.

— Готово, — ответил хозяин погоста, выбрасывая последнюю лопату песка наверх. — Подавай руку, вылезу.

Крепкая ладонь парня перехватила запястье; упершись лаптями в мёрзлый дёрн, Васька вытянул Макарыча на поверхность. Отряхнув колени и оббив глину с сапог о край перекинутой через яму доски, старик оглядел погост.

Народ из деревни уже потянулся по тропинке снизу — чёрные фигуры на белом от инея косогоре двигались медленно, гуськом. Впереди двое мужиков несли на плечах крышку нового соснового гроба, за ними, окружённый бабами в тёмных платках, шёл молодой поп с кадилом, и сизый ладанный дым стлался низко над землёй, не поднимаясь вверх.

— Верёвки в сарае возьми, — велел Макарыч Ваське. — На лавке у двери лежат, пеньковые, толстые. Да не перепутай с вожжами.

Похороны прошли быстро и чинно, как и положено по-стариковски. Сноха Никифора причитала в голос, но без надрыва — дед прожил своё сполна, никого не объел, не залежался в постели. Тяжёлую домовину опустили на верёвках, забили крышку гвоздями — стук молотка в морозном воздухе разносился далеко, отдаваясь гулким эхом в пустом старом русле, — и споро закидали яму мёрзлыми комьями глины и песка.

Когда холмик вырос и в изголовье вкопали свежеотесанный дубовый крест, бабы раздали поминальные блины и пироги. Поп прочитал короткую литию, махнул кадилом и первым пошёл вниз, к деревне, подбирая полы рясы, чтобы не испачкать о сухую траву. За ним потянулись и остальные.

На бугре остался только хозяин погоста.

Собрав инструмент — лопаты, лом и скрученные в бухту пеньковые верёвки, — он отнёс всё в сарай. В ушах всё ещё стоял стук молотка по сосновой крышке, а в пальцах дрожала усталость после утренней копки.

В доме было тепло и тихо. Печь уже протопилась, пахло свежими щами, но в горнице никого не оказалось — Марья ушла, верно, в хлев задать корму корове. На столе, накрытый чистым рушником, стоял чугунок, рядом лежала краюха ржаного хлеба и деревянная ложка.

Садиться за стол не хотелось. Пройдя прямо в мастерскую, Макарыч прикрыл за собой дверь.

Солнце, поднявшееся к полудню над голыми берёзами, заглядывало в маленькое пыльное оконце косым лучом. В этом свете ясно видна была мелкая древесная пыль, висевшая в воздухе, и широкий, потемневший от времени и работы верстак, занимавший почти всю середину комнаты.

Верстак этот ставил ещё прадед, а может, и того раньше — дерево на столешнице было дубовое, толщиной в ладонь, изрезанное стамесками, прожжённое горячим варом, впитавшее в себя пот и смолу нескольких поколений погостных мастеров. Стоял он на толстых, в обхват, дубовых стояках, врубленных прямо в половицы и расклиненных снизу тугими берёзовыми шипами, чтобы не шатался, когда тешешь колоду или забиваешь клин.

Заскорузлые ладони легли на столешницу. Дерево было прохладным и гладким, как речной голыш.

Ночной звук из-под пола не выходил из головы с самого утра. Тот самый сухой щелчок, похожий на треск лопнувшего от мороза камня, и странная тяжесть чужого сна у вдовы Агафьи. Перед утренней копкой Макарыч заглядывал к ней по пути — парень спал ровно, дышал глубоко, жар сошёл, и Агафья, перекрестившись, сказала, что к рассвету сын попросил пить и узнал мать. Но внутри оставалось глухое беспокойство: что-то там, внизу, сдвинулось с места. Будто тяжёлый жернов на мельнице стронулся с оси и пошёл тереть камень о камень всухую, без зерна.

Опустившись на колени рядом с верстаком, он нагнулся, заглядывая под низкую перекладину.

Между толстыми стояками половицы были уложены иначе, чем во всей мастерской — поперёк, плотно пригнанные друг к другу, без единой щели. В самом центре этого настила темнело кованое железное кольцо, утопленное в глубокий паз так, чтобы не мешать ногам при работе.

Творильный люк.

Старый Лука, умирая от грудной жабы сорок лет назад, говорил об этом месте только шепотом: «Туда без нужды не лазь, Макар. Там не погреб и не подпол. Прадед мой, когда ещё молодой был и дурной, полез туда с фонарём поглядеть, откуда холодом тянет. Поскользнулся на ступенях, грохнулся так, что два рёбра расшиб и до самой смерти потом кривобоким

ходил. А вернулся — три дня слова вымолвить не мог, только головой мотал, будто оглох. Вода там внизу, Макар. Чёрная вода. По ней души к перекату идут, когда мы им дорогу отворим. Живому человеку у той воды делать нечего, покуда время не пришло».

Сорок лет кольцо оставалось нетронутым. Никто не выбивал клинья из дубовых шипов, не сдвигал тяжёлый верстак с места. Не было нужды — река внизу текла ровно, сны уходящих шли по проторенной колее, и калитка между мирами открывалась и закрывалась без скрипа.

Но сегодня утром на дне могилы Никифора от известняка тянуло стоячей, мёртвой пустотой.

Поднявшись с колен, Макарыч подошёл к стене, где висел инструмент, и снял тяжёлую деревянную киянку. Повертел в руках, прикидывая вес. Потом оглянулся на дверь в горницу — не идёт ли Марья.

Марья боялась этого места под верстаком пуще огня. Никогда не подметала там веником, обходила стороной, даже когда нужно было протереть пыль с подоконника, и каждый раз, проходя мимо, незаметно крестила подол сарафана. Увидит, что клинья выбиты — поднимет крик на весь погост.

В сенях стояла тишина — только в хлеву звякнула цепь да коротко мыкнула корова.

У переднего стояка верстака тугой берёзовый клин сидел в пазу у самого пола. Дерево за десятилетия ссохлось, вросло в дуб так крепко, что казалось единым целым. Приставив обух киянки к узкому концу клина, Макарыч ударил — вполсилы, пробуя на податливость.

Клин не сдвинулся, только глухо звякнуло железо оковки на киянке.

Перехватив рукоять поудобнее, он размахнулся и ударил сильнее. Сухой треск расколол тишину мастерской — клин стронулся, выскочил на полвершка. Ещё два удара — и берёзовый брусок упал в стружку.

Второй клин, у заднего стояка, пошёл легче. Видно, сырость от наружной стены потихоньку точила дерево из года в год.

Когда все четыре шипа были освобождены, плечо упёрлось в толстый край дубовой столешницы. Верстак был тяжёлый, сбитый на века, и сначала даже не шелохнулся. Крякнув и уперев каблуки сапог в щель между половицами, гробовщик навалился всей спиной. Дерево жалобно заскрипело, сдирая с пола слежавшийся за десятилетия слой засохшей смолы и пыли, и медленно поползло в сторону, к печи.

Освободившееся место под ним было светлее остального пола — сюда не добирались ни солнечный свет, ни дёготь с сапог. Кованое кольцо в центре квадратной крышки люка покрылось тонким налётом ржавчины, но железо оставалось крепким, толстым, кованным ещё старыми уральскими мастерами.

Вспотевший лоб вытерся рукавом рубахи. Сердце билось тяжело, отдавая в виски глухими толчками от сосущего ожидания, какое подкатывает под ложечку перед прыжком в ледяную прорубь.

Пальцы ухватились за кольцо, потянули вверх.

Крышка не поддалась. За сорок лет щели между дубовыми плахами забились мелкой древесной пылью и воском, намертво склеившими дерево. Со стола легла в руку широкая стамеска; её остриё вошло в паз с краю, сработало как рычаг. Дерево хрустнуло, щель разошлась на толщину лезвия.

Рывок за кольцо — и крышка поднялась тяжело, со скрипом, откинувшись на кованых петлях и ударившись о половицы с глухим стуком.

Гробовщик замер на коленях, глядя вниз.

Из чёрного квадратного проёма не пахнуло ни погребной плесенью, ни сырой землёй, ни затхлым мышиным духом. Не гулял там и сквозняк, который обычно тянет из глубоких подвалов, когда открываешь творило в тёплую избу. Снизу поднялась сухая тишина — такая

плотная, что в ушах сразу зазвенело, как бывает высоко в горах или перед самой грозой, когда замирает каждый лист на дереве.

Свет из маленького оконца мастерской падал в проём косо, высвечивая только верхние три ступени. Они были высечены прямо в сером слоистом известняке — широкие, стёртые по краям чьими-то ногами за долгие века, пепельного цвета. Дальше лестница уходила вниз, в густую темноту, которой не касался дневной свет.

Наклонившись ниже, Макарыч вгляделся в черноту. Ни плеска воды, ни шороха, ни единого движения воздуха. Только пресный холод поднимался оттуда медленно, невидимой волной, и холодил лицо, как мокрое полотно.

— Макар?.. Ты чего там гремишь?

Голос из-за двери ударил неожиданно в мёртвой тишине. Рука дёрнулась так, что киянка едва не сорвалась в проём.

Скрипнула дверь в горницу, и на пороге показалась Марья, вытирая руки о передник. Увидев отодвинутый к печи верстак и чёрную дыру посреди пола, она остановилась как вкопанная. Лицо её мгновенно побелело, губы сжались в тонкую нитку, а пальцы сами собой потянулись к вороту кофты, нащупывая нательный крест.

— С ума сошёл, старый?! — выдохнула она шепотом, словно боялась, что её услышат там, внизу. — Зачем открыл? Забыл, что Лука наказывал?!

— Тихо ты, не кричи, — глухо ответил он, поднимаясь с колен. Поясницу ломило, ладони были в серой известняковой пыли. — Посмотреть надо было.

— На что там смотреть?! На смерть свою?! Прадед Лукин там рёбра переломал, сам еле живой выполз! Закрой сейчас же, слышишь, Макар! Закрой от греха!

Шагнув вперёд, она протянула руки, будто хотела сама захлопнуть тяжёлую крышку, но не дошла двух шагов — остановилась у самой границы тёмного пятна на полу, не решаясь переступить черту.

— Не закрывай пока, — сказал Макарыч, глядя мимо жены в чёрный проём. — Слышишь?

— Ничего я не слышу! Тихо там, как в могиле!

— Вот то-то и оно, что тихо, — проговорил он медленно, подбирая слова. — Слишком тихо, Марья. Внизу вода идёт. Всякая река, даже самая глубокая и тёмная, голос имеет — хоть шорох, хоть вздох, хоть сырость от неё тянет. А здесь сухо, как в пустом горшке. Будто вычерпали всё до дна.

— И слава богу, что сухо! Наше дело наверху — доски строгать да сны провожать, а не по норам лазить!

Ответа не последовало. Холод из подпола поднимался по ногам выше колен, забирался под кафтан, студил поясницу. Вчерашний сон парня Агафьи снова встал перед глазами — чёрная жирная грязь, белые слепые глаза и тяжёлая, как густой дёготь, вода, которая не течёт, а только ворочается на месте и тянет за ноги вниз.

— Ладно, — сказал он наконец, отступая от края. — Не буду спускаться. Без огня туда и правда нельзя.

Кованое кольцо легло в ладонь; тяжёлая крышка опустилась на место. Дубовая плаха вошла в паз с глухим стуком, отрезая холод подпола от тепла натопленной избы.

За спиной раздался шумный вздох со всхлипом — Марья перевела дух, словно всё это время не дышала. Плечи её опустились, но взгляд оставался настороженным, колючим.

— Верстак на место ставь, — велела она твёрдо. — И клинья забей, как было. Нечего этому зеву посреди избы торчать.

Уперевшись плечом в столешницу, Макарыч подвинул верстак обратно на старое место, совмещая вмятины на полу со стояками. Подобрал из стружки берёзовые клинья, загнал их в пазы киянкой — туго, до звона, так, что верстак снова встал намертво, словно врос в землю.

— Пойдём щи есть, — сказала Марья уже мягче, повернувшись к двери. — Остыли совсем, поди.

— Иди, я сейчас. Инструмент приберу только.

Дверь за ней закрылась. С минуту в мастерской стояла полная тишина — только ходики за стеной мерно отстукивали секунды.

Наклонившись, гробовщик собрал в горсть рассыпанные опилки, чтобы бросить их в печь. Под пальцами среди мягкой сосновой трухи попалось что-то жёсткое, острое, колючее. Разжав ладонь, он увидел на загрубевшей коже, среди жёлтых древесных крошек, несколько крупинок сухого серого песка — точно такого же, какой лежал сегодня утром на дне Никифоровой могилы, под самым известняком.

Глава 3. Запах смолы и мёда

Снег лёг только к Николе Зимнему, сразу плотный и сухой, и накрыл погост белым саваном от старого русла до самой околицы. Мороз ударил без ветра, звонкий, так что по утрам в лесу за болотом трещали берёзы, а в мастерской у печи держался густой жилой дух растопленного воска, сосновой смолы и сушёной мяты, пучки которой Марья развешивала под самой притолокой.

После Покрова жизнь на бугре вроде бы вернулась в привычную колею.

Парень вдовы Агафьи поправился, встал на ноги и к Михайлову дню уже помогал мужикам возить брёвна из леса, только похудел сильно да молчаливый стал — мимо погоста ходил опустив голову, на гробовщика старался не глядеть. Старый мельник Никифор лежал под высоким дубовым крестом у южной ограды, земля над ним схватилась камнем, и даже вороны перестали садиться на мёрзлый холмик.

Но под верстаком, в глубокой щели между половицами, всё так же таилась сухая тишина.

Макарыч больше не трогал кованое кольцо. Клинья в дубовых шипах сидели намертво, засыпанные свежей жёлтой стружкой и опилками, но всякий раз, проходя мимо стола с тяжёлым бревном на плече, он чувствовал кожей мёртвый холодок, поднимавшийся снизу сквозь толстые плахи пола.

— Опять воску натопил на всю избу, — раздался от двери тихий голос Марьи.

В руках она держала берестяной туес с сотовым мёдом, принесённым из кладовой к вечернему чаю. Платок сбился на плечи, открывая гладкие, туго заплетенные в косу седые волосы, и в свете сальной свечи, горевшей на столе, лицо её казалось спокойным и умиротворённым.

— Надо, — ответил хозяин погоста, не отрываясь от дела.

На маленькой железной жаровне у печи стоял глиняный черепок, в котором медленно плавился жёлтый пчелиный воск вперемешку с сосновой живицей. Помешивая тягучее варево берёзовой лучинкой, он следил, чтобы не закипело и не пошло пузырями. Такой замазкой старый Лука учил проливать пазы в хороших дубовых домовинах, когда заказывали их люди зажиточные — купцы из уездного города или богатые мельники с дальних хуторов. Смола давала крепость и отгоняла сырость, а воск связывал её, не давая трескаться на морозе.

— Заказ пришёл из Заречья, — добавил он, снимая черепок с углей старой рукавицей. — Кузнец тамошний, Игнат, помер вчера. Сын его прискакал на санях перед самыми сумерками, просил к пятнице гроб справить из сухого тёса, с крышкой на шпунтах. Только чудной наказ передал: швы варом не проливать и гвоздей не бить, оставить на одних деревянных шкантах, чтобы, мол, дерево дышало. Задаток оставил — два рубля серебром и мешок крупчатки.

Марья поставила туес на стол в горнице, но дверь закрывать не стала, осталась стоять на пороге, глядя, как муж аккуратно зачищает паз на боковой доске.

— Игнат-кузнец? — переспросила она негромко. — Это который хромой, с кривым глазом?

— Он самый. Сын сказывал, угорел в кузне. Заслонку рано закрыл, а угли ещё синим огнём дышали. Так у горна и нашли утром, с клещами в руке.

— Царствие небесное, — Марья перекрестилась, приложив сложенные щепотью пальцы к высокому лбу. — Хороший был мастер. Мне ещё девка была, он отцу лемех на соху наваривал — до сих пор в сарае лежит, ни одна зазубрина не взяла. Сон-то пойдёшь у него принимать?

Лучинка в руке гробовщика замерла над доской. Капля горячего воска сорвалась вниз, упала на верстак и сразу застыла тусклой жёлтой лепёшкой.

— Далеко, — ответил он после короткой паузы. — По зимнику вёрст двенадцать будет, да через реку по льду. К тому же угорел он, стало быть, во сне отошёл, без муки. Там душа сама дорогу знает, не заблудится.

Он говорил ровно, но сам чувствовал, что кривит душой. Не в вёрстах было дело и не в том, как умер кузнец. После того случая у Агафьи в октябре Макарыч словно оглох на одно ухо — перестал слышать привычный тихий зов уходящих. Раньше, бывало, только занеможет кто в округе, только начнёт душа собираться в дорогу — у него самого к вечеру начинало тянуть затылок и во рту появлялся лёгкий привкус талой воды. Тогда он брал шапку, посох и шёл, даже если не звали. А за последние два месяца в деревне преставились две старухи, и обе ушли тихо, без его участия, а внутри у него оставалась всё та же глухая пустота, словно дверь внизу приперли тяжёлым камнем и забыли отодвинуть.

— Ну и слава богу, — сказала Марья с облегчением. — Нечего по ночам по морозу шастать. Чай поспел, иди ужинать.

В горнице было жарко натоплено. На столе дымился пузатый медный самовар, рядом стояла миска с золотистым сотовым мёдом, нарезанный ломтями чёрный хлеб и крынка топлёного молока.

Умыв руки над лоханью и сняв пропитанный смолой фартук, Макарыч сел на лавку под божницей. Хлеб был мягкий, ещё тёплый от утренней выпечки, мёд тянулся густой янтарной нитью, пах липой и летним разнотравьем.

Марья налила ему чаю в толстую фаянсовую чашку с отбитым краем, себе взяла блюдце, отколола щипцами маленький кусочек серого колотого сахара.

— Вчера в деревню ходила за солью, — заговорила она, подув на горячий чай. — Бабы у колодца судачат, будто на старом русле по ночам огни видят. Синие такие, низкие, прямо над ивняком пляшут.

— Болотный газ, — буркнул гробовщик, откусывая хлеб. — Оттепель была на прошлой неделе, вот из торфяника и травит. Бабам лишь бы языками чесать.

— Может, и газ, — не стала спорить она. — Только собаки на краю села по ночам воют так, будто волков почуяли. И корова наша сегодня утром доиться не давалась, всё косилась на стену, что к мастерской выходит, и ногами перебирала.

Молчание повисло над столом — тяжёлое, как непромешанное тесто. За стеной мерно стучали ходики: тик-так, тик-так. В печи щёлкнул догоревший уголёк.

Взгляд Макарыча скользнул к косяку двери, ведущей в сени.

Там, на уровне глаз, потемневшее от времени сосновое дерево было испещрено короткими ровными чёрточками, выведенными тупым концом плотницкого воскового карандаша. Сорок чёрточек. Каждый год на Покров, с того самого дня, как старый Лука отдал ему ключи от сарая и показал творильный люк, хозяин погоста доставал из ящика верстака огрызок красного воскового мелка и ставил новую зарубку.

Первые десять легли ровно, одна к одной — молодые годы, когда силы было хоть отбавляй, когда по ночам они с Марьей шептались на печи до первых петухов и верили, что после первенца бог даст им ещё детей, полную избу. Потом пошли зарубки пореже, кое-где воск стёрся от рукавов полушубков, задевавших косяк в зимнюю пору. Двенадцать лет назад одна чёрточка вышла кривой, сорвалась вниз — в ту осень Марья тяжело болела горячкой, три

недели лежала без памяти, и он сидел у её постели, сжимая в кулаке сухую руку и боясь закрыть глаза, чтобы не пропустить тот миг, когда её душа шагнёт к чёрной воде. Тогда обошлось. Выходила, поднялась к Рождеству, только с тех пор стала совсем тихой, словно часть её осталась там, на самой кромке тумана.

— Надо бы косяк по весне обстрогать да побелить, — тихо сказала Марья, проследив за его взглядом. — Совсем чёрный стал от копоти.

— Не тронь, — отозвался он коротко. — Пусть будут. Не мешают.

В пятницу, запрягши в розвальни старого мерина, одолженного у мельниковой снохи, Макарыч сам повёз готовый гроб в Заречье.

Зимник через реку был наезжен хорошо; полозья пели на сухом, звонком снегу, пар густыми клубами валил из ноздрей лошади, оседая белым инеем на дуге и вожжах.

Двор кузнеца Игната стоял на отшибе, у самого соснового бора. Когда розвальни въехали в открытые ворота, из сеней вышел сын покойного — высокий, широкоплечий парень лет двадцати с угрюмым, закрытым лицом и твёрдым взглядом, в котором не было ни слезинки, ни обычной для осиротевших детей растерянности.

— Привёз? — спросил он коротко, оглядывая гроб в санях. — Швы не заливал?

— Как велел, — ответил Макарыч, спрыгивая с розвальней и разминая затёкшие ноги. — Сухая сосна, в шип, крышка на берёзовых шкантах. Ни капли смолы, ни одного гвоздя. Помочь внести в горницу?

— Не надо, я сам, — парень легко, словно пустую корзину, подхватил длинный ящик под мышку, ухватившись за край. — Бабы придут к вечеру, обрядят. А хоронить завтра на нашем погосте будем, у бора. Ты не задерживайся, дядь Макар, дорога дальняя, темнеет рано.

Он вынес из сеней обещанный мешок крупчатки, бросил в розвальни, отсчитал два серебряных рубля в заскорузлую ладонь гробовщика и сразу притворил дверь избы перед самым его носом.

Уезжая со двора, Макарыч оглянулся на тёмные оконца кузнецовой избы. За сорок лет ремесла он научился чуять смерть за версту — по особой, стылой пустоте в воздухе, по тому, как притихают во дворе собаки и как тяжело стелется дым из трубы над домом, где лежит покойник. Здесь же над крышей вился лёгкий, весёлый дымок от свежего берёзового полена, во дворе воробьи бойко дрались за зерно у сарая, а от самой избы пахло не ладаном и не мёртвым холодом, а горячим ржаным хлебом и дорожной овчиной.

Хромой кузнец Игнат с кривым глазом никуда не умирал. Он просто уходил из этих мест навсегда — уходил так, чтобы никто не искал следа, оставляя за спиной пустую могилу у соснового бора и гроб на деревянных шкантах, из которого легко выйти ночью.

Обратно на свой погост Макарыч вернулся в сумерках.

Допив вечерний чай, он поднялся из-за стола, подошёл к печи, пощупал рукой тёплые изразцы. В избе было уютно, пахло мёдом, свежим хлебом и сухими берёзовыми дровами — тем простым тёплом, которым человек отгораживается от долгой зимней ночи и от всего, что ворочается там, под землёй, за слоем серого известняка.

Но когда в темноте, уже лежа в постели, он закрыл глаза, запах мёда и тёплого хлеба исчез сразу, будто сдуло сквозняком. В нос ударил резкий дух болотной тины и сухого известнякового песка. И сквозь мерный стук ходиков за стеной ему почудилось, что где-то глубоко под половицами, в самой толще камня, медленно и тяжело проворачивается несмазанное деревянное колесо.

Глава 4. Сон о человеке с серой рукой

Метель зарядила на Крещенье и выла трое суток без передышки, забивая сугробами низкие оконца, заметая тропу к колодцу и сравняв в белую гладь холмики свежих и старых могил на бугре. В трубе гудело так, словно в боров забрался голодный волк, а в щели под порогом наметало тонкие языки сухого снега, которые не таяли до самого утра.

Сорок лет ремесла прошли мимо — и будто в один день, и будто целую жизнь: сменялись зимы и покосы, сточились о точильный камень три фуганка и две стамески, выцвела до серой тряпицы венчальная холстина в сундуке за иконой, высохли и почернели сорок восковых зарубок на сенном косяке, а руки гробовщика налились тяжёлой, узловатой силой, привыкшей держать и долото, и заступ, и холодное запястье умирающего человека.

За эти годы погост на излучине пересохшей реки стал для Макарыча единственным настоящим домом — куда более понятным и обжитым, чем шумная, пахнущая навозом и квашеной капустой деревня внизу. Здесь всё шло своим чередом: старики умирали осенью, когда спадала страда и ложился первый иней, младенцы — по весне, на сырой воде, а мужики — когда придётся, по пьяному делу или под упавшей лесиной. Хозяин погоста строгал для них домовины из сухой сосны, копал ямы до слоистого известняка и провожал их сны до самой чёрной воды, следя, чтобы ни одна душа не заплутала в потёмках и не вернулась пугать живых по ночам.

Но в ту зиму, после Покрова, привычный ход вещей сломался окончательно.

На Сретенье в деревне преставился кривой шорник Семён — мужик тихий и безобидный, всю жизнь чинивший хомуты да сбрую. Отошёл он к вечеру, сидя на лавке с недошитым ремнём в руках, без горячки и крика. Когда прибежавший соседский мальчишка принёс эту весть на бугор, Макарыч сразу надел полушубок, взял сосновый посох и пошёл вниз по занесённой тропе.

В тесной, пропахшей дёгтем и сыромятной кожей избе шорника уже горела восковая свеча перед тёмным образом. Бабы-соседки обмыли покойника, обрядили в чистую холщовую рубаху и уложили на широкую лавку под божницей. Лицо Семёна было спокойным, морщинистым, но рот остался чуть приоткрытым, и в запавших глазницах таилась какая-то недосказанная растерянность, будто человек шагнул через порог и сразу упёрся лбом в глухую стену.

Оставив баб в сенях шептаться у самовара, гробовщик присел на табурет у изголовья, положил загрубевшую ладонь на холодный лоб шорника и закрыл глаза.

Внутри стояла пустота.

Обычно даже спустя несколько часов после смерти душа ещё держалась рядом с телом — как тонкий дымок над потухшей лучиной, — и стоило прикрыть веки, как перед глазами открывалась серая тропа к воде, по которой нужно было только подтолкнуть заблудившегося путника в спину. Но сейчас перед мысленным взором висела глухая каменная стена, сухая и шершавая, как неструганая известняковая плита.

Ни единого дуновения с той стороны, ни единого отзвука чёрной воды. Словно калитка, через которую сорок лет уходили жители этих мест, захлопнулась на ржавый засов, а ключ бросили в глубокий омут.

Просидев у гроба до первых петухов, Макарыч так и ушёл ни с чем. Снохе шорника наказал закрыть покойнику глаза медными пятаками и накрыть лицо полотном до самого отпевания, а сам побрёл обратно на бугор по пояс в наметенных за ночь сугробах.

Домой он вернулся на рассвете, промёрзший до самых костей. В горнице натоплено не было — Марья спала, свернувшись калачиком под старым полушубком, и во сне тихо постанывала, морща лоб, будто видела что-то тяжёлое.

Снимать валенки и тулуп сил не осталось. Присев на лавку у стола в мастерской, Макарыч положил тяжёлые руки на столешницу и уронил голову на скрещённые предплечья.

Сон навалился сразу — тягуче, густо, словно на голову накинули мокрый войлок.

Сначала не было ни света, ни звука — только ощущение падения вниз, сквозь толщу земли, сквозь глину, речной песок и слоистый известняк, туда, где под корнями вековых деревьев таилось старое русло. Холод обжёг лицо — сухой и колючий, пахнущий старым железом и пылью.

Открыв глаза, гробовщик понял, что стоит на берегу.

Неба над головой не виделось. Вместо него висела низкая пелена цвета печной золы, из которой не падал ни снег, ни дождь, но воздух был густым и тяжёлым, как в передбаннике перед самым подданием пара. Под ногами хрустела мелкая чёрная галька, перемешанная с сухим серым песком, а прямо перед ним, в двух шагах, тянулась река.

Вода в ней была чёрной — глухой и непроглядной, словно в глубокий котлован налили расплавленного вара. Течения не замечалось, но у самой середины русла вода вздувалась тяжёлыми, гладкими валами, перекатывалась через невидимый каменный порог — и при этом не издавала ни единого звука.

Абсолютная тишина стояла над этим перекатом. Ни плеска волны о гальку, ни свиста ветра, ни скрипа песка под сапогами. В этом безвременье звук просто не рождался, гас, не успев сорваться с языка.

На том берегу, в мутном пепельном мареве, кто-то двигался.

Прищурившись, Макарыч вгляделся через чёрную воду. Сквозь серую дымку проступала высокая, сутулая тень человека — широкого в плечах, в длинном, до самых пят, грубом кафтане, полы которого волочились по гальке. Лица разглядеть не удавалось — мешал густой туман, стелившийся над самым перекатом, — но движения его были резкими, точными, привычными к тяжёлой работе.

Человек стоял на коленях у самой кромки чёрной воды и тянул из неё что-то тяжёлое.

Вот из тёмной глади показались звенья толстой кованой цепи — чёрной от ила, покрытой наростами ржавчины и речного камня. Тень упёрлась ногами в берег, перехватила цепь обеими руками и потянула на себя, напрягая спину. Звенья натянулись, задрожали, готовые вот-вот лопнуть, и Макарыч всем нутром, каждой косточкой почувствовал эту чудовищную тяжесть, хотя вокруг не раздалось ни звона железа, ни хриплого выдоха.

Потом человек на том берегу поднял левую руку, чтобы перехватить цепь повыше.

Даже сквозь пепельный туман рука эта показалась странной — глухо-серой, матовой, словно выкованной из старого чугуна или покрытой толстым слоем запекшейся кузнечной окалины. Пальцы этой серой руки сомкнулись на ржавом звене мёртвой хваткой, не чувствуя ни холода, ни острых заусенцев металла.

На миг тень замерла, повернув голову в сторону гробовщика.

В сером мареве сверкнули глаза — один золотистый, как искра в углях горна, другой холодный, серебристый, точно отражение месяца в лесной кринице. Взгляд этот скользнул по Макарычу без удивления, но с такой глухой, последней усталостью, что в груди перехватило дыхание.

Тень на том берегу снова наклонилась к воде, сводя два разорванных конца толстой цепи, пытаясь сцепить их голыми руками там, где не выдерживал даже кованый крюк. Чёрная вода под перекатом вздыбилась, пошла тугими складками, накрывая берег ледяной пеной — и всё так же без единого звука.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.